

Ольга Татаринова

МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР

книга стихов 1977-86 гг.

Москва
Издательство «БПП»
2009

Стихотворения
представлены
в авторской редакции,
орфографии и пунктуации

Как медленно всходит укроп,
и музыка мне изменила,
и сердца тяжелая сила
подняться не может до строк —
так медленно всходит укроп;
и точно какой-то упрек
темнеет в углу, захоронен...
За окнами град монотонен...
Как медленно всходит укроп,
посаженный в радостный вторник!
Но, ежели даже проворней
окажется темень моя
и боль среди ясного дня,
все это — я очень прошу, —
все то, что я в сердце ношу:
и музыки вечной сиянье,
и всходы росистого знания —
отдайте тому одному
худышке с походкой подростка,
с смешком, отчуждающе-жестким,
которого в сердце ношу.

февр. 77

Тихий снег, московский вечер,
после детства — почти второй,
ошеломляюще сир, безупречен
грустной своей правотой.

Быть одной и хотеть быть с тобою,
когда медленно падает снег;
только, счастья такого не стоя,
я стою в стороне ото всех.

Тихо ласковый снег шевелится,
тихо мысли земные текут,
а вокруг прибавляются лица —
это мой, очень людный маршрут.

Всех люблю я любовью бродяги,
и в твою, наверное, честь
я болею безудержной тягой
ко всему, что сейчас и здесь.

дек. 77

В природе прибавилось света —
он к утру меня оживил.
В природе прибавилось снега,
надежд, наваждений, чернил.

Неужто же к прибыли этой
ты снова останешься глух,
и нем, и невидим — как некий
природу покинувший дух?

Прячется сердце в глухих захолустьях крапивы,
страшно и стыдно на свет его белый извлечь
и повести средь нарядных и уличных голой Годивой,
прядами на золотые мечтанья набросив шумящую речь.
Сердце-Годива, забудь золотые мечтанья,
от которых зацвел в твоём лоне жемчужный цветок:
холоден принц Гаутама, Иезус жесток —
не выполняет никто здесь своих обещаний.
То был шелест листьев, Годива, крапивы шуршанье,
дождь о стекло, трепет мраморных изваяний —
здесь нет ничего, что тебе разрешало бы жить.

Холод, Господи, Твой полыхает по жилам пожаром,
пока вниз головой на столбе поржавелом фонарном
здесь вишу; заливает мне окна блестящим туманом —
не насытить души перевертышей мертвых дурманом.

Все-то мимо бежит, пролетает и вдаль уплывает,
пока взгляд мой внимательный
в стражде по пяткам скользит,
и внизу подо мной все подола плащей заматают —
не узнает никто, кем кому и когда здесь хребет перебит.

Только время стоит стройным столбиком
ртути витринной,
неподвижно оно и не мерит уже ничего,
и бесцельная крестная коновязь муки звериной
не искупит грехов, не спасет никогда никого.

1983

ничего не могу изменить ничего переставить
в этих голых деревьях под снегом
вокруг обреченных слобод
не прошу у судьбы ничего не надеюсь оттаять
что могло быть — прошло и теперь только время идет

так зачем же я выбрала эту безмерную тягость
и за что же я выбрана ею бессильна под гнетом щедрот
отчего никому ничему на земле не досталась
только пылкой тоске у безвременья лет
среди безвременья вод

почему никуда не прибита волной многоцветной
и мой грешный язык полумглу полуправду поет
почему погибаю с рожденья бессмертна бездетна
и не встречен никем в океане мой парусный флот

ничего не могу объяснить ибо нет оправданий
у безбрежия жизни что мимо деревьев
под снегом течет
только с криком немым одичалые чайки
небесных заданий
покидают мой борт пока судно за судном
уходят под лед

1978

Всем, кто оставил на грядке меня
в ранней печали, в истоме цветенья,
всем, кто не дожил до черного дня
Лета Господня — забвенье, забвенье!

Всем, кто шагая головки сбивал
ветки цветущей — забвенье, прощенье!
Всем, кто из луж лепестки подбирал
и удивлялся неправде растенья,

всем, научившимся правильно жить,
спасшим себя от глубин пораженья,
внявшим приказу не дорожить
цветом печали — забвенье, забвенье!

Всем, кто измял цветоложе мое
блудом без смысла — забвенье, забвенье!
Всем, кто не верил в мое бытие
и не узрел среди поля — прощенье.

Кто ж не забудет сквозные черты,
в мертвых объятьях бесплодного мая
сон беззащитной моей наготы —
облик души — перед кем не растает?

1978

Нас держит здесь дыхание сирени,
сияние жемчужных облаков
и опьяняюще-обманный зов
всего, пред чем склоняем мы колени.

Нас предал Бог на вечное закланье,
и с равнодушием государя
всесильного, презревшего стенанья,
оставил в колбе мирозданья
в крови барахтаться, клочком любви даря.

Любви друг к другу, детям и природе,
к прибытию далеких кораблей,
к рождению в странноприимном роде
беспомощно-пророческих идей.

Но ход вселенной возлюбя превыше
несовершенства хрупкого людей,
какой-нибудь Паскаль, жилец среди идей,
нас обделяя нежностью своей,
совет ли нам гнездо под всемогущей крышей? —

нет, только сторону приняв Творца,
покинет мир людей с проклятьем беглеца.

Я мир живой люблю, и теплую беседу,
и разума ростки в коротком лете дней
на грядке зябнущей души своей
я посвящаю своему соседу
по жизни пламенной, по скудному обеду.

75-78

Высокие кручи над бледной водой,
и сосен озоновый запах,
и сень золотистая над головой,
и — точно бумажный — кораблик.
И небо меж веток мелькает светло,
и флаги над рубкой трепещут —
и вся эта радость, и свет, и тепло
сквозь облако дымки зловещей,
окутавшей слабое сердце мое,
которое ждать перестало
и выцветший парус свернуло давно,
и дремлет над жизнью устало —
и день золотистый над бледной волной,
и сосен озоновый запах —
как будто бы все в иностранном кино,
и точно бумажный — кораблик.
Куда вы плывете — эй, люди — ау!
Я там уж давно побывала,
ходила под солнцем, топтала траву,
и ждать я с тех пор перестала
от круч и от сосен над бледной водой,
что сбудутся их обещанья,
а сень золотистая над головой —
ведь это прощанье.

Наталии Захаревич

Какой губительный расчет —
вдруг снам своим придать значенье,
ресницам, профилю, на лоб упавшим прядкам,
какой-то бирюзовой чепухе,
карандашу, сандаловой тетрадке,
туманам лондонским, что наполняли душу,
и уповать на чье-то опьяненье
от твоего лазоревого взгляда
на вещи, от конца твоей строки,
не видеть начисто опилок и трухи,
которыми набита кукла жизни,
в дни проливных дождей и листопада
не знать, что стрелки убыстряют ход —
и вот становится дрянно и кисло слушать
про чьи-то посторонние дела, дожди, наря-
ды, хмурости чела, и в жабьей линзе
горит булавочный зрачок вниманья
лишь к орденской петлице и горшку.

1982

Этот тихий знобящий звук,
доносящийся будто с Луны...
Мои ночи тревоги полны —
это вера иль просто испуг?
Я люблю этот двойственный знак,
неба с жизнью немую игру...
Мне как будто дается знать,
что я впрямь никогда не умру.

Я прожила с тобой роман — роман о Левине и Анне,
а между нами океан и весь наш лондонский туман,
метет по пустырю буран,
и в этот поздний час —
настолько поздний, что скорее ранний —
я мысленно бросаюсь со скалы,
под поезд, в прорубь — и в который раз
я понимаю, что литература
уводит нас в тартарары,
не обеспечивая нам тылы,
особенно в том месте, где цензура
всех наших действий, жестов, слов
не позволяет вылиться страстям
и чувствам в подлинное их обличье,
и я сижу тихонько на диване
нахохлившись, и в позе что-то птичье,
и горе безутешное мое,
начавшееся век назад, все длится,
а я сижу тихонько; все дымится;
охлаживает льдистый снег жилье —
и знаешь, недоумеваю:
куда синицы подевались вдруг?
Весь день они сидели на рябине,
ломались в форточку и мягкий хлеб клевали —
сейчас там пусто, лишь буран сам-друг.

1984

Я стояла у окошка,
ты сидел напротив в кресле,
на тебе пиджак был светлый,
ты спокойно говорил.
Я не помню дня недели,
и погоды я не помню,
и до сей поры не знаю —
был ты прав или не прав.
Опершись на подоконник,
я в руках держала сердце,
и цветы в руках держала —
тихо рушились миры.

янв. 84

Боярышник токует под окном
в далеком рдяном шелесте заката;
никто не знает, где он — истинный твой дом
среди угодий призрачного сада.
Что здесь твое? — вот это ли окно,
иль с хламом выброшенная тетрадка,
иль не размолотое до конца зерно
на самой глубине кофейного осадка?
Что так привычно было лишь вчера,
что было рядом, под рукой лежало —
вдруг слизывает вихрь жизни жадный,
и вновь твои бездомны вечера.
Все сметено грозой в который раз —
опять Помпея, Геркуланум, Троя,
и вновь изволь по первопутку строить,
и коли сосен нет, используй вяз...
Коль тишина — немолчный Божий глас
в испепеленной взрывами пустыне
тебя обступит — даже в этот час
не сомневайся: се твой дом отныне.
Все, что когда-то безутешно мнилось
седым, туманным утром хмельных дней
твоей взволнованной, болезненной гордыне —
то свыше и была дарованная милость,
а Феникс, что жила в груди твоей,
теперь на ветке рядом поселилась.

авг. 84

Когда душа, изнемогая,
опять уйти в свой легкий путь хотела
от скверны этих стен осклизлых, смрадных,
оставив среди пятен крови тело,
она приподнялась, убогая, нагая —
последний дым над полным трупов домом —
ни светом чистым не сияя
ни звуком нежным не ведома,
и некуда уже идти ей стало —
ни чаять, ни витать, ни воспарить —
над нею больше небо не сияло,
ей было нечем ни дышать, ни жить —
и стало ясно, что она — земная.

сент. 83

Такая пустота в темнеющем саду,
что мнится мраморное чудо в глыбе гипса,
и вдруг надеешься еще хоть раз родиться —
в таком же сумеречном и пустом году,
и засиять сквозь ветви дымных скумпий,
услышать шорох на тропинке, вздох травы —
и голос за кустом, задумчивый и ломкий,
стрелу печали спустит с тетивы,
сказав кому-то: «Опоздав родиться,
я чую только призраки любви».

дек. 84

Наполнена своей тоской,
как мраком девственным природа,
и ниоткуда луч живой
не проникает небосвода.
Застыли рощи и сады
гримасой боли неумной,
и я, вдвоем с душой свободной,
как каторжница, жду беды...
Нет от любви освобожденья,
покуда сердце живо в нас —
желаний вольное движенье,
надежд безмерных искушенье
к тьме пригвозждает всякий раз.

1983

*Размалеванная маска
откровенней ваших лиц...
Ф.Сологуб*

Когда я по тебе скучаю
в ночной обуглившейся тишине,
минуты втаптывают в землю
запечатленный в контражуре профиль
(достоинство первейшее, должно быть,
на взгляд фотографа). Любимый! —
какое лживое таинственное слово,
а за окошком хлещет дождь, багровый
от зарева дрожащих фар. —
Тебя ведь я ни разу не видала,
с тобой ни разу я не говорила —
откуда ж знать тебе, любимый,
что втаптывает в землю ночь.

дек. 83

Над осенними рощами стелется дым,
все вокруг увядает, сгорает и стынет,
и словами незначущими, простыми
обменяться осталось ни-с-кем и ни-с-чем —
это значит, исчерпаны распри с былым,
только в груди золы вдруг бессвязная искра
просверкнет, никому выражая, как быстро
догорели надежды планеты речистой,
отзвучал звук рожка, на котором дудел
кровожадный циклоп Полифем.
Что же было, зачем эти краски земли
на кремнистой основе небесной твердыни
духоядно и пламенно произросли,
отчего до скончания дней мы твердили,
исчезая в дыму отгорающих лет,
о какой-то надежде на будущий свет —
не для этого ль мига себя возводили?
Над осенними рощами стелется дым,
все вокруг распадается, меркнет и стынет,
только отблеск рассветной небесной звезды
метит плавленный ком,
где последней слезинкой дрожит
безответная, скорбная, лунно-седая...
боль утрат... тусклый слиток взаимных обид...
наша любовь золотая.

1983

Декабрьские сумерки утренних грез,
толпящихся с мрачным терпеньем под сводом
вокзалов, вершащих наемный извоз,
невольничьих дум облака под присмотром
наивных, беспомощно-преданных глаз,
загадочно спаянных с мускулатурой
и с полой обоймой бессмысленных фраз,
решений медвежьих, стальной арматурой
наемных загонов des Lovensgericht¹
и всей этой пыточной процедурой
общественной жизни, под сводами пихт,
под сводами пальм, под сводами лип,
под сводами вязов, под сенью олив —
декабрьские сумерки утренних грез,
ночных откровений, предсмертной печали —
и этот последний, последний вопрос:
за что одарили, за что наказали?

1983

¹ «львиный суд», нем.
И. Гёте, право силы — «Райнеке-Лис».

Мой дорогой редактор, вам
по ночам не являются привидения?
Окровавленные тени? Опухшие дети?
Не являются призраки
продрогшие от холода
голубыми губами шелестящие
голубые стихи?

О наслаждение ударить
ударить по голубизне
и разразиться мстью мстью
за то, что места в вышине
вам нет и ей вы безразличны;
якшаться с небом неприлично
тем, кто навозен здесь вполне!

1981

Когда я бываю в отчаянье,
ты в небо упорно глядишь,
к моей невнимателен тайне,
и горестно мне говоришь:
«Погибнут и звери, и люди,
бессмысленно землю любить,
бессмысленно веровать в чудо,
бессмысленно слепки творить».
Бессмысленна эта затея —
тебе попытаться сказать,
что я хоть на миг, да умею
свет жизни наколдовать.

1983

О боже, как ты далеко —
а я одна, больна, мне бесконечно грустно;
я знаю, что в твоём окне легко
летает снег, и панорамы тусклой
глухой сюжет расцвечен фонарем
рябины тоненькой с тугими завитками,
припорошенными слюдой с небес, а между нами
пустые доли, тяжкий, вязкий снег,
я стала для тебя уже чужбиной,
почти что старой липой, среди всех
других деревьев аллеи лучше зримой;
а я тяну свой бесконечный век,
мне холодно и бесконечно грустно,
украдкой из-под тяжёлых век
я научилась жизнь подглядывать искусно,
а если редко-редко запою —
лишь про себя, тихонько, незаметно,
и снегом занесённую родню не жаль мне даже —
так несметны
прожитые в пустыне стылый дни —
в пыли безропотной, в неметенной коморке,
и только к одному душа осталась зоркой —
к снежинкам легким, да к туманным далям,
в которых медленно плывут за снами сны,
и в этом ускользающем пейзаже
лишь ты прощен, и нужен только ты.

1984

Что угодно, как мяч, подхватить
и нестись по заветному кругу,
только б длить, только б длить, только б длить
этих ритмов пылающих нить:
не навек — так в с е г д а победить
нам дано здесь мертвящую скуку.

1985

Нежно, безбрежно колышет печаль
суденышко утлых надежд у причала.
Отсюда когда-то получит начало
стремительный бег в освещенную даль.

И будет там кто-то манить и пленять,
и будет там что-то как стяг развеяться,
и в лунном полете все будет казаться,
что солнечным светом слепит благодать.

И все униженья, клеветы, позор
в свой герб родовой горделиво ты впишешь,
и сделаешь вид, что вовсе не слышишь
намёков, не видишь насмешливый взор.

Так дай тебе Бог, чтобы это шаманство
надежд, силуэтов в просвете сквозном,
святых убеждений и тяги пространства
всегда осеняло печалью твой дом.

1985

Какая б мука ни терзала душу —
живую, одинокую, нагую —
спокойно-скорбный дух у изголовья
всегда теперь участливо склонится
над нею — жадной, плачущей и робкой,
и молча молвит голосом негромким:
взгляни, душа, на отблески заката,
взгляни на силуэты бледных зданий, —
еще чуть-чуть, и полной тьмой объята
окажется тропа твоих блужданий,
и с нею — все, что корчилось, кричало,
на тучной ниве истекая кровью,
все, что молило, гневало, роптало,
то верой страстною своей вменяло
любовь мне в долг творящего начала,
то, разметав постромки, восставало,
признав, что не был движим я любовью.
Ведь как из ничего скроить обнову?
Как выбить уймы дон бездонного ушата?
Как обрести безмолвию дар слова?
Взгляни, душа, на отблески заката.
Я не един, и власть моя не свята.
Есть надо мною нечто, Бог, н и ч т о.

1985

ЛЕБЕДИ В КУЛЕ

I have looked upon those brilliant creatures

And now my heart is sore

W.B. Yeats «The wild swans at Coole»

Осенние тропинки сухи,
шуршит опавшая листва,
сквозь лес сюда иные звуки
доносятся едва-едва.

Который год я здесь брожу
и лебедей своих считаю,
и снова отпускаю стаю,
и новых откровений жду.

О, счет веков благополучный,
когда судьба других миров,
их путь зловещий, скорбный, млечный
сокрыты дымкой облаков.

1985

Была чудесная зима,
по городку метель гуляла,
стучась в дремотные дома,
я от нее сошла с ума —
он это знал, а я не знала.

Потом — чудесная весна
опять гнала меня из кресла,
и я была себе верна —
себе не находила места.

О том, похоже, знали все —
все видели, как я сгораю,
как я на ведьмином хвосте
кручусь в проклятом колесе —
а отчего, сама не знаю.

Но в тот осенне-вешний день
я думала: хитра я стала,
и тень на колкий мой плетень
своею кепкой набекрень
не наведешь — я жить устала.

Устала жить, устала петь,
устала в черный кон смотреть,
где звезды крутятся устало;
бывает, легче умереть,
чем сердцем очертя реветь,
о чем — я так и не узнала.

1983

Ах, бывает, бывает — покажется вдруг,
что хоть смертен, а все же любим небесами,
что скорее кашеи, драконы и волки помрут,
но не мы, с нашей веры-надежды-любви чудесами.
И тогда мы спокойно садимся в кабину любви,
в дирижабль,
и глазуют на нас, заслонившись от солнца рукой,
ротозеи.

Ничего нам не страшно, ничего нам не жаль,
мы воочию зрим свой грааль и от счастья хмелеем.
И в мгновение мы проживаем свой жизненный сон,
ради тех, кто нас любит, мы в нем чудеса совершаем,
и в мгновенье, проснувшись, мы все до копейки теряем,
и не зная, как жить, реки слез богатырские льем.
Не дано нам понять, не внушит нам наш ангел —
ни добрый, ни злой:
третьего не дано, только гибель, и гибель, и стенка.
Лопнул радужный шарик надежды хмельной —
и на грязном полу сохнет серая пенка.
Так латай же, латай свой разбившийся дирижабль,
раз очнулся — и жив, ничего не осталось другого:
только вправить суставы, вокруг оглушив сонных жаб,
и допрыгнуть до неба, прекрасного и голубого.

1984

Что-то особенное в этой дымке осенней,
что-то несбывшееся в этом светлом томлении,
что-то тревожное в этом неспешном сиянии
сквозь золотую листву. словно слышу твое досвиданья,
словно гуляю с тобой по медовому лугу
и кузнечик стрекочет про скорую с жизнью разлуку.
Почему эта осень такая нежданная, нежная, страстная,
почему мне так грустно, прекрасно и так одиноко?
Почему все травинки ложатся мне под ноги
в виде порога
и от тени сиренево-розовой тянет ненастьем?
Все ведь сбылось — даже больше чем было придумано
в лунные ночи бессонниц, от детства хмельных,
больше, чем листьев на небе задумчивых, нежных,
сквозных,
мигов мне послано было на этом ристании.
Все ведь сбылось — ты со мной — только на расстоянии
кто-то мелькнул в покрывале за темным кустом.

1984

О мой игрушечный Пьеро,
как мы легко с тобою сносим
у сигаретного костра
любых лишений наважденье
и у глухих небес не просим
ни йоты лишнего добра,
и уж давно нам все равно,
как ни ярится стынь и злоба,
скрипит промерзшее окно
и на пол сыплет снег — мы оба,
на клетках шахматной доски
рисую прежние напасти,
витаем в облаках, и счастье
с рябинным привкусом тоски —
горчайшая на свете чаша —
парит, дымится по углам,
рубашка к телу примерзает —
ваш ход, Пьеро! — и отверзает
свой зёв прижизненная бездна,
и кромка острая ее
царапает виски и душу.
Игры я нашей не нарушу,
о мой игрушечный Пьеро:
это лишь сон, лишь забытье!

1984

Вечерний мир сгустившихся вуалей
на лицах жизнеутверждающих вещей —
стола и лампы, телефона, кресла;
лиловый взор окна, устав от дали,
от вывесок, от клоунады жеста
пролился синевой своей
вглубь теплого жилья;
но мне больней —
в незрячести, в отторгнутости слуха,
вращенного в пытливости и шири.
Боль одиночества в огромном мире,
бредущем под окном усталыми, глухими
шагами из цехов проката
души, с ее извечной и триклятой
приверженностью к запаху сирени,
снегов, и рос, и роз, и к пенью соловьев.
Как неприятна в зареве заката
здесь на земле любовь!

1985

Осталась только ночь из всех твоих щедрот,
о жизнь, невнятный сон небес, юдоль земная.
Синеют фонари, и жметя у ворот
угодливым крючком палач костлявый мая.
И ветер твой, о жизнь, мне сердце просквозил,
и хлам унес, и скарб,
и здесь, в ночной пустыне
еще зачем-то я лежу без сил,
и створки слез покуда не остыли,
по темноте двора блуждает взгляд
в надежде бледной, безотчетной,
и карандаш в руке бессильной сжат,
и слуху чудится залетный
напевный звон серебряных стремян,
державших дальний путь от Вифлеема,
и шорох прорастающих семян,
и в небо, горькое от привкуса измены,
я упираю свой язык с трудом,
чтоб ветру прошептать еще хоть слово...

1986

Живых вещей воображенье
смущает в этот зимний час
тишайший мир в своем уединенье —
простуженный печальный контрабас.
За окнами так пусто — как без глаз
остались мы, и в байковой отчизне
чуть ощутим невнятный трепет жизни;
в то время как на улице апрель,
здесь ледяной озноб на лунной тризне,
и кроткого злосчастия метель
метет поземку, дует из углов,
но весел трубный глас канавы сточной,
и разразиться потолок отечный
рыдающими звуками готов.

Я одна, я на узкой дороге,
и как жизнь за спиною, темна
холодящая веки стена,
что на ближнем видна повороте.
И как будто мне выбрать дано,
и как будто не все решено
в этой линии хмурой и строгой —
есть еще золотая стезя,
мимо стенки, к ручью, но меня
привлекает мысль, что нельзя
нам избежать судного дня,
и я мысленно трогаю строки —
гребни пресной прохладной струи,
и горячие слезы мои
вспять рекою бегут к истокам.

1986

Каким-то словом и каким-то звуком
душа опять томительно больна,
и этим свыше данным ей недугом
она опять устремлена
к тому, что бродит отсветом невнятным
на темной глади всех наземных вод,
хотя сегодня я уже прекрасно
осведомлена Богом и людьми,
что облака на небе — только маска
москитная у Бога на груди.

1986

Все отняли, что давали,
и все отдала, что брала —
лесные сизые дали,
золоченые купола.

Но чудом душа успела
угадать свой неведомый дом:
вспыхнула и взлетела,
рассыпаясь полночным огнем.

Только длилось это недолго —
жизнь моя этим мигом была:
сизый лес, разливанная Волга,
золоченые купола.

Я строил этот мир не день, не два —
ушло на то поболее недели:
вон видишь ту реку, над ней — туман,
и видишь — лебеди над нею пролетели;
все начиналось с дымки этой влажной
и с дерзкой, хриплой, пламенной, отважной
моей тоски, должно быть, по тебе:
я этого не знал, но билось где-то
в глубинах ничего не ведавшей души
какое-то неясное томленье,
и я придумал крыльев очертанья,
и лебеди взлетели над рекой.
И я им вслед смотрел, один оставшись
на берегу реки моей туманной,
и звук во мгле душевной нарастал,
щемящий, жалобный и безымянный,
и я сложил ладони на груди,
и пальцы так беспомощно дрожали
от страха за тебя и от печали,
что никогда к тебе мне не прийти.
Тогда я терпеливо смастерил
из камыша прибрежного свистелку,
ее к губам несмело приложил —

и тихо-тихо, и неторопливо
я рассказал тебе про лебедей,
про их полет, высокий и прекрасный,
про дальний и зеленый свет луны,
про звук в моей душе печальный, стройный —
и кончив свой рассказ, один остался,
совсем один на берегу реки.

ноябрь 83

ТРИСТАН (Августа фон Платена)

Перед кем Красота представала
Тот на гибель уж был обречен
На земле ему дела не стало
И трепещет пред гибелью он
Перед кем Красота представала.

Вечно длится любовная мука
Лишь безумец пленится мечтой
На земле неизбывна разлука
Для того кто сражен Красотой
Вечно длится любовная мука.

Вздох язвит ему грудь точно жало
Смерть несет ему запах цветка
Перед кем Красота представала
Истончен словно нить ручейка
Вздох язвит ему грудь точно жало.

Александра Козырева

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Разговору о стихах О.Татариновой хочется предпослать пару-тройку эпитафий из них же, например, таких:

...и празднуй то, что ты еще живешь,
что до потемок полных не наказан,
что голосом надтреснутым поешь,
свою неопытность суждений честно празднуй...
(Книга стихов «Горизонт квартала»)

...Что здесь твое?..
(Книга стихов «Московский вечер»)

Вообще, на эпитафии легко можно было бы растащить добрую четверть всех стихотворных строк — настолько плотна их, скажем так, образно-рассудочная ткань. Эта же плотность при видимой скупости выразительных средств и затрудняет рассуждения о стихах, ибо механизм их художественного воздействия зиждется на глубинных взаимодействиях оттенков чувств поэта («намек в общении, неточность настроений»), серьезнейшей технической выучке у родных классиков XIX (впрочем, и XX тоже) века и привитой модернизмом практике дискретности поэтического текста, разрывов и зияний, обусловленных равно научным и социально-историческим опытом апокалиптического века.

Первая строка первого стихотворения книги «Камерно»: «Как раз тогда, когда слетает строчка...» — знаменуют постоянную «включенность» души, дисциплинированно-одухотворенную готовность к ее, строчки, «приему». Здесь — ключ к напряженному чувствованию поэтессой земного времени, его чудовищной — для человека — краткости, к многогранности и многозначности происходящего в каждый его, времени, летучий момент. Недаром книга самых ранних её стихов названа «Vita brevis», намекающая, естественно, на продолжение пословицы: «Ars longa» — как девиз, возможно, в начале творческого пути для самой себя. И следует за этим — жадное вбирание множественных реалий Богоданного мира, главная из которых для О. Татариновой — человек, упоение равно — красотой цветения и неотвратимостью увядания. Но при видимой многоцветности и разновекторности образов она четко держит духовную вертикаль, соотношение верха и низа, Творца и творения: «...даже слово — только оболочка, а вечно то, что на него толкает». Но через необходимую поэту, как воздух, предельную открытость, щедрость чувств и яркость впечатлений уже сквозит червоточина печали и Богооставленности:

И Бог к тебе уж не приставлен,
а только музыка одна, —
говорит О.Татарина в стихотворении о Моцарте
(книга стихов «Синица в небе»).

Одним словом, взаимоотношения автора с Богом непросты и многообразны. Видимо, жесткий накат и частая смена эпох (Сталин, Хрущев, Брежнев) способст-

вовали тому, а может быть, иначе и не бывает. Как бы там ни было — осторожное чаяние веры в конце книги «Московский вечер»: «Мои ночи тревоги полны — это вера иль просто испуг?» — воспринимаешь как общую — автора и читателя — надежду на обретение веры. Впрочем, внимательная любовная чуткость к красоте Божьего мира, которой переполнены строки стихотворений Ольги Татариновой, сама является непрестанной и возможно, лучшей молитвой во славу Небес. А бессеребреничество — во всех многообразных метафорических смыслах, как, впрочем, и в прямом — возможно, неприменная плата за открытость сердца и незашоренность взгляда:

Все отняли, что давали,
и все отдала, что брала...

Другой вектор напряженного внутреннего внимания автора — самоотверженность творчества, результат которого — «строки — гребни пресной прохладной струи». Расплата же за столь дерзновенный выбор — «горячие слезы» дерзнувшего, в том же стихотворении («Я одна, я на узкой дороге...», книга «Московский вечер».).

Вообще, поэзия О. Татариновой — поэзия дерзкого вызова сумятице и агрессии внешнего мира. Свидетельства такого вызова разбросаны по многим строчкам всех её книг, стихотворение же «Еще один пропащий день угас...» представляется читателю манифестом несдавшейся, несломленной души:

...пусть все упущено — но сам не посягай
на тихий строй своей души непраздной...

В другом стихотворении автор скажет:

Не ждет никого здесь теплица,
здесь ветреный, пасмурный дом.
И столько сумеешь продлиться,
сколь дерзостно выдержишь в нем.

Разумеется, будучи настоящим и глубоким поэтом, О. Татаринова далека от пошленького бодрячества, и строки ее — первые тому свидетели. Но моменты смирения перед «злой судьбой», отчаяния и даже поражения — неизбежны в жизни творца. «Боярышник токует под окном» — стихи о безумно-красивом поражении:

...Все, что когда-то безутешно мнилось
седым, туманным утром хмельных дней
твоей взволнованной, болезненной гордыне —
то свыше и была дарованная милость,
а Феникс, что жила в груди твоей,
теперь на ветке рядом поселилась.

Поражению гордынных начальных устремлений и мудрый, хотя и с оттенком грусти финал: бесконечно возрождающаяся творческая дерзость других, вновь появляющихся на свете поэтов, очевидно, эта живущая теперь уже в их груди Феникс.

Тема пронзительного одиночества — горькой платы за свободу, в том числе и творческую — одна из главных во всех этих стихах. Так, в стихотворении «Я прожила с тобой роман — роман о Левине и Анне...» варьируется мотив глубинного духовного одиночества, приводящего человека к бездне отчаяния. В разрешении темы мы видим человека-воробышка, «нахохлившегося» на диване, а за окном — «буран сам-друг». Бедный человек между бураном духовным и бураном за окном не самое, вероятно, веселое зрелище. Но очень похоже на правду. Кстати, в этом же стихотворении звучит ценное предостережение неопитам от культуры о том, что «... литература уводит нас в тартарары...». О том, что жизнь — шире поэзии, литературы, и многие вещи непостижимы для нас ни на рациональном уровне, ни даже на уровне творческого взлёта.

Сами названия книг её стихов — «*Vita brevis*», «Синица в небе», «Горизонт квартала» — сразу понимаешь, что имеешь дело с языком метафорических и символических иносказаний — ведь в городе горизонт, даже квартала, можно увидеть лишь сверху, забравшись на крыши и чердаки. Я думаю, у читателя это может вызвать ассоциацию с «башней из слоновой кости» с непременной заявкой (абсолютно реализованной) на высоту духа и, само собой, широту обзора. Что касается погружения в глубину обозреваемого, читателю, представляется, должно чрезвычайно импонировать то, что вместо расхожего образа хищного мегаполиса-спрута автор умудряется «выцеживать» из каменных джунглей «моцартовскую негу», пусть это всего лишь и нега воздуха. Одно из последних стихотворений книги «Гори-

зонт квартала» посвящено памяти Терентия Гранели, грузинского поэта, покончившего с собой, выбросившись из окна. Артикулированный в названии книги «горизонт» таким образом еще раз пересекся отчетливой вертикалью падения, как бы поставленным восклицательным знаком образуя крест — символ целокупности мира.

Для многих стихотворений О. Татариновой характерна сопряженность пространств прошлого и настоящего, в результате чего, собственно, возникает единое время (а по мнению В.Б. Микушевича, никакого иного просто не существует), в котором бок о бок с нами поднимается ни свет ни заря чернорабочий Пьеро: «вставал и в семь и в шесть и часто плакал», дует в рожок кровожадный циклоп Полифем, а последнее чердачное пристанище Нерваля определенно располагается где-то в Трехпрудном...

Образы поэта парадоксальны: они неброски и в то же самое время ярки даже до оттенка некоей яростности:

Что же было, зачем эти краски земли
на кремнистой основе небесной твердыни
д у х о я д н о и пламенно произросли...

Краски, что «духоядно» произросли — это, похоже, из родимой истории, из тех времен и весей, что, к примеру, и Спас-Ярое Око или фрески Пскова и Новгорода. В этих словах угадывается некая колоссальная энергетика, закованная в сдержанную, скупую, неброскую

форму. Вот другой пример подобного энергетического протуберанца:

Как молний блеск изобразить,
как ни плащом стальным по ниве,
когда в з м е т н у л с я в перспективе
в ч а с о т р е ч е н и я я з ы к ?

И, несмотря на то, что за подобным стихотворением автор часто ставит стихотворение, как кажется, более простое (возможно, впрочем, для того, чтобы глаза и душа читателя перевели дух), взвинченный градус читательского внимания готов узнавать, к примеру, в словах «астры и флоксы под небом густым» не просто осеннюю натурную зарисовку, но переключку звездчатых цветов с их родовыми предками там, на небе.

Мир расколот. Человек, даже не сломленный духом, слаб и немощен. Он ищет опоры в своём собственном духе, частице Святого и Вечного:

Что здесь твое? — вот это ли окно,
иль с хламом выброшенная тетрадка,
иль не размолотое до конца зерно
на самой глубине кофейного осадка?..

Всё это признаки явно и откровенно выраженного духовного стоицизма, столь свойственного самым большим поэтам кромешного XX века. Но не это ли именно имел в виду Бродский, говоря: «Каждый истинный стоик — стоик только на треть...» А поэтому ему

(стоику) всё-таки слишком, непозволительно часто бывает грустно — чем и грешен преимущественно.

Хотя и впрямь, что здесь наше, кроме возможности медитативного погружения на дно кофейной чашки? Может быть, не так уж и мало, что понимаешь, когда наступает «тишина — немолчный Божий глас в испепеленной взрывами пустыне», внутренняя тишина, в которой только и возможно уразуметь некий Глас Божий. И боярышник, что «токует» под окном, и воздух, напоенный слезами и «моцартовской негой», «слиянье мокрых крон с сияньем неба», «лесные сизые дали, золоченые купола» и, хочется добавить, бездонный кладезь мировой культуры с ее красотой, печалью и, увы, неизбежным трагизмом. Всё это — «наше» до некоторой степени. Трагическое, как принято считать со времён ещё Аристотеля, — высшее из проявлений в искусстве. Ощущение трагического весьма сильно в стихах О. Татариновой, причём в силу самого выбора Красоты, что бы за этим ни последовало, что она даёт понять включая в одну из своих книг перевод стихотворения немецкого романтика фон Платена «Тристан»:

Перед кем Красота представала,
Тот на гибель уж был обречён...

Остаётся только надеяться, что эта гибель — опять-таки на символическом языке искусства и всех, всех её стихов — не гибель, подобная гибели Дон-Жуана: низвержение в адское пламя, а какая-то другая, ближе к символу зерна, что не может прорасти, не погибнув, чтобы потом дать обильные всходы. Какие? — может

быть, имеются в виду всходы утончения, развития многих человеческих душ?

СОДЕРЖАНИЕ

Как медленно всходит укроп,	3
Тихий снег, московский вечер,	4
В природе прибавилось света —	5
Прячется сердце в глухих захолустьях крапивы,	6
Холод, Господи, Твой полыхает по жилам пожаром,	7
ничего не могу изменить ничего переставить	8
Всем, кто оставил на грядке меня	9
Нас держит здесь дыхание сирени,	10
Высокие кручи над бледной водой,	12
Какой губительный расчет —	13
Этот тихий знобящий звук,	14
Я прожила с тобой роман — роман о Левине и Анне,	15
Я стояла у окошка,	16
Боярышник токует под окном	17
Когда душа, изнемогая,	18
Такая пустота в темнеющем саду,	19
Наполнена своей тоской,	20
Когда я по тебе скучаю	21
Декабрьские сумерки утренних грез,	23
Мой дорогой редактор, вам	24
Когда я бываю в отчаянье,	25
О боже, как ты далеко —	26
Что угодно, как мяч, подхватить	27
Нежно, безбрежно колышет печаль	28
Какая б мука ни терзала душу —	29
ЛЕБЕДИ В КУЛЕ	30
Осенние тропинки сухи,	30
Была чудесная зима,	31
Ах, бывает, бывает — покажется вдруг,	32
Что-то особенное в этой дымке осенней,	33
О мой игрушечный Пьеро,	34
Вечерний мир сгустившихся вуалей	35
Осталась только ночь из всех твоих щедрот,	36
Живых вещей воображенье	37

Я одна, я на узкой дороге,	38
Каким-то словом и каким-то звуком	39
Все отняли, что давали,.....	40
ТРИСТАН (Августа фон Платена)	43
Александра Козырева	44
ПОСЛЕСЛОВИЕ	44